

A watercolor illustration of a man in a yellow and red robe standing in a landscape with mountains and a river. The man is the central figure, wearing a long, flowing yellow robe with a red sash. He is standing on a green bank next to a river. In the background, there are blue mountains and a yellow sky. The style is expressive and painterly.

Андрей Бычков

ВСЁ ЯРЧЕ
И ЯРЧЕ

Андрей Бычков
Все ярче и ярче

«Алетейя»

2021

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бычков А. С.

Все ярче и ярче / А. С. Бычков — «Алетейя», 2021

ISBN 978-5-00165-266-3

Андрей Бычков – один из оригинальнейших современных русских прозаиков. Лауреат литературных премий «Нонконформизм», «Silver Bullet» (USA), «Тенета» и др. Призер нескольких кинематографических конкурсов. Сценарист культового фильма Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж». Книги и отдельные рассказы выходили в переводах на английский, французский, сербский, испанский, венгерский, китайский и немецкий языки. Новые, не публиковавшиеся ранее отдельным изданием, рассказы Андрея Бычкова отличают яркое и парадоксальное видение реальности, неизменная витальная сила и неудержимая дерзкая мощь письма. «Творчество Андрея Бычкова несомненно представляет собой уникальное и крайне интересное явление в современной русской литературе», – писал об авторе Юрий Мамлеев.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-266-3

© Бычков А. С., 2021

© Алетейя, 2021

Содержание

Некто по имени	6
1	6
2	8
3	9
Раздавленная весна	16
1	16
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Андрей Станиславович Бычков

Все ярче и ярче

© А. С. Бычков, 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

Некто по имени

1

Вывернутый из рукавов, умирающий налево, умирающий направо, так приближался, а может, и удалялся, вслед за троллейбусом, как будто и сам был троллейбусом, как будто еще держался за провода, питался – током ли, напряжением, как учили еще в пятом или в шестом... и уже срывало штанги токоприемника и штанги раскачивались широко, чертили над проводами, задевая, искря, нелепо, неправильно, как будто размахивали руками перед тем, как упасть, выскакивала шоферша в пассажирскую дверь, что у нее почему – то не было отдельной, своей, натягивала брезентовые рукавицы и присаживалась, как будто ей стыдно, что виснет на стропах, заводит штанги на провода, он хотел рассмеяться, словно это ему заводят обратно, что – то сдавило в груди, он закашлялся, захотелось осесть на тротуар, давиться, троллейбус уже отъезжал, а он уже входил в магазин, здесь продавали соки, ножи, покупали навигаторы, гаджеты, коньяк и селедку, в канцелярском глазели фломастеры, из – за кассы высилась продавщица, не поворачивалась лицом, у лица был шанс оказаться другим, как в классе пятом или шестом, когда Ом не придумал еще свой закон, и сопротивление не было поставлено в знаменатель, что чем больше сопротивление, тем все меньше и меньше...

– Что – нибудь подсказать? – заулыбалась она.

Он не сказал ей, что она расфуфыренная дура, не сказал ей, что она пластмассовая кукла, он не нарушил ее супермаркетный сон, не признался, что хочет умереть, он просто спросил, есть ли у нее кролики.

– Кролики?

– Да, кролики, – упрямо повторил он, пытаясь заглянуть под эти накрашенные перламутром фальшивые веки, может ли быть там еще хоть какая – то обратная сторона, он все еще надеялся проложить путь, пробраться задами или складами, пусть даже через эти мусорные свалки, где ему подошли бы любые лекарства, и даже эта мымра, с наведенными акриловыми бровями, вся в какой – то оранжевой пудре, крашенная хной или не хной...

– Нет, у нас только канцелярские, – ответила она.

– А дома?

– Дома?!

Ее как будто ударило током, а может быть, напряжением, хотя напряжение не бьет, а поражает, он знал с пятого или с шестого, хотя, смотря, сколько вольт, если бы эта тварь умерла, подумал он, сдохла бы от своих кривляний прямо здесь, за кассой, было бы здорово, и мне бы, наверное, полегчало, я мог бы вызвать полицию, скорую, констатировали бы кровоизлияние в мозг, возможно, я даже познакомился бы с ее отцом, голливудским продюсером, присутствовал бы на похоронах...

Она усмехнулась:

– Дома, да.

Он уже находил себя у себя, сидел в своей комнате, вспоминая вчера, а может быть, завтра, эту расфуфыренную мымру, не убить, нет, а холодно, медленно изнасиловать, это была бы работа, изнасилование как работа, как труд, он по – прежнему сидел в комнате, в этой или в другой, в серии своих комнат, серых, однообразных, где налево ванная, направо туалет или кухня, а какая разница – еще готовишь или уже летишь в черной, зловещей вертикальной трубе, течешь в горизонтальной, как и все остальное, давно уже переваренное, однообразная разноцветная жижица, местами густая, а вот и пластиковый пакет, гаджет, кожура от банана,

обложка глянцевого журнала, а вот проплывает и он – некто по имени, в неопределенности своего положения, в распаде чувств, в недоверии к разуму, бесконечно ищущий и не способный найти, он знает или ему так только кажется, а может, это так и есть, было или не было, пытается вспомнить и забывает, хочет спросить, но спрашивать не у кого, никому больше нельзя доверять, все может оказаться обманом, находит ли он себя в комнате или в троллейбусе, сидит, лежит или идет, если бы только все разворачивалось как история, необходимость причин и следствий, последовательность событий – тогда не оставалось бы и времени на рефлексии, а ведь его и так почти не осталось, будущее ушло в прошлое, как в песок, он так ничего и не достиг, ничего никому не доказал, у него не хватило сил, хотя он делал все, что мог, лез и старался, хитрил, прикидывался, что он человек, что он такой же, как и все, человек...

2

Ключ поворачивался в замке, да, это вошла жена, оказывается, у него есть жена, она говорит, что видела, он вздрагивает, неужели следила за ним в магазине, да, продолжает она, я видела объявление и позвонила, я нашла учительницу пения, и теперь наш сын будет учиться петь, значит, у него есть и сын, может быть, все и не так плохо, думает он, словно бы возвращаясь из какой – то чудовищной заграницы, где он надеялся, что он уже мертв, где его прах уже развеивали с корабля над бесконечно синим морем, а оказывается, он все еще жив, у него очаровательная жена, она нашла учительницу, педагог будет ставить голос сыну, сын станет оперным певцом, как Паваротти, будет петь со сцены, поражая залы, ты слушаешь меня, спрашивает она, или у тебя по – прежнему женщины на уме, сидишь тут и сидишь, зачем я вышла за тебя, лучше бы вышла за Голубева, она засмеялась, у нее хорошее настроение, может быть, все не так уж и плохо, подумал он снова, она уже обнимала, прижималась душистой щекой, за окном поднимался май, она нашла учительницу, она же сама всегда хотела петь, подниматься на сцену, а из соседней комнаты уже выходил сын, он был классе в пятом или в шестом, и сын начинал кричать, что он ненавидит пение, разражался скандал, усмехалась накрашенная продавщица, и прах... прах не хотел развеиваться, жужжа, слетался обратно в урну, корабль шел задом наперед и из огня кремаций в Варанаси или на Митинском снова восставал из пепла некто, данный сам себе в вопросах без ответов, «зачем» слипалось с «почему», «что» мешалось с «как», и лезла, лезла в голову размалеванная продавщица из канцелярского, порывы тока, джоули и ватты брали свое, сопротивление падало до нуля, и в свой безжалостный закон устремлялся Ом, бедняга искал выход, смешной, в очках, с усами Ом, никому не нужный Ом, изобретатель другой реальности, изобретатель длинных влажных электронов...

3

Она долго разматывала шарф в прихожей, жаловалась на холодный май. Она была учительницей пения. Пришла в четверг. Сын покорно сидел на стуле в своей комнате, а он – как отец сына – принимал с плеч учительницы легкое демисезонное пальто. Жена судорожно и радостно смеялась, жена хотела понравиться учительнице. И время как бы расправлялось и замедлялось в этом новом моменте, где он и его супруга знакомились с преподавательницей, и что можно было бы назвать моментом реализма, так он про себя вспоминал потом этот момент, увиденное в первый раз *ее* лицо, как у какой – то испуганной птицы. Из – под длинной челки тревожные глаза, что он и сам почувствовал какую – то тревогу.

Маленькая, худощавая, она изогнулась к зеркалу, словно бы удивляясь неправильному изображению себя, поправила прическу, и вот уже опять стояла перед ними, прижав маленькую сумочку к груди, и как – то неловко, виновато улыбаясь, видимо, ждала, когда же ее пригласят в комнату к ученику, пока жена все раздражалась и раздражалась своим бархатным цветущим баритоном и возбужденно хохотала, покрывая баритон рассказами о майской чепухе, пока, наконец, и он не снял очки и не сказал:

– Ну... пора бы и познакомиться с учеником.

За окном была уже майская ночь, сквозь свежую листву светился кристалл супермаркета. Виртуальные тени размыкались на виртуальной стене. Им было наплевать на реализм. Образы клубились и восставали из ничего. Образы жили сами по себе. Но сейчас они с удивлением оглядывались на своего адепта. Почему он лежит именно так, положив под голову руки, как лежат в старинных кинофильмах? Он вспоминает об этой маленькой, странной, испуганной слегка учительнице? Здесь, в этом моменте, образы тешили сами себя, словно напоминая, что реальны только они и что скоро это все пройдет.

Он уже засыпал. Из – за стены доносилось звуки грустной казачьей песни, и словно бы стена была прозрачна, маленькая женщина с птичьей головой сидела рядом с учеником. И он сейчас и был ее учеником. А образы снисходительно посмеивались, что они, образы, все же взяли свое, и что присущая им свобода остается нетронутой, хотя им было и слегка грустно, что их адепт опять привязывается к жизни... Он повернулся на правый бок и вздохнул, утыкаясь в потную подмышку жены.

*Не для меня придет весна,
Не для меня Дон ра – золье – ется...*

Сон, распоротый пополам, голое тело, пустынный лунный пейзаж, и этот черный куст посреди безжизненной пустыни, и эта влажная красная ночь, которая каждый раз его порождает, маленький новый троллейбус в синем блестящем плаще, праздный, бессмысленный, лишь бы никто никогда его не узнал, маленький троллейбус, который любит сосать эскимо, любит лизать языками пламени, заклинать в Варанаси, что никакой он не Ом, засидевшийся в комнатах, живущий, как на Луне, где он собирает и разбирает потухшие кратеры, дайте – ка, мои миленькие, я вас разберу, дайте – ка, мои миленькие, я вас соберу, а вам не больно? а вам хорошо?.. черный куст развеивается на ветру, черный куст горит холодным медленным пламенем, и поднимается черный медленный дым, невозмутимые клубы над голубыми скорбящими голубями, в шароварах с лампасами...

Во второй раз учительница пришла в понедельник. В какой – то момент ему показалось, что она что – то хочет ему сказать, как будто она пришла не к его сыну, и что она почему – то

вынуждена разыгрывать этот спектакль, в котором ему отведена всего лишь роль сидения за стеной, где он может только догадываться, что же происходит на сцене.

Жены не было дома. И после урока, он, вместо того, чтобы подать учительнице палто, вдруг предложил ей выпить чаю.

И она согласилась.

Он налил пуэр, положил бисквит с малиновым вареньем и попытался слегка поколдовать, рассказывая, что сам он питается только сыром, корой дубового дерева, обшивкой старых «фольсвагенов»... Она насмешливо заулыбалась, помешивая ложечкой чай. И он почему – то подумал, что эта женщина, в отличие от его жены, сможет его понять. Возникла пауза, учительница молчала. И, чтобы избежать неловкости молчания, он продолжал врать, теперь уже что – то про сирень, что работал когда – то на фабрике по изготовлению сирени, которую никакими тестами не отличить от настоящей, что они чеканили резиновую сирень на голубых станках... Она, по – прежнему, молчала, и теперь, как ему показалось, как – то грустно. Потом, откинув челку, посмотрела ему прямо в глаза. Он смутился, и, оборвав поток бессмысленностей, спросил, как – то скучно спросил, где она живет? Она ответила, что в Строгино. И ему до боли вдруг захотелось спросить ее – *одна*? Он знал, что это было бы неправильно, и что его желание было выше его цели.

– Вас там кто – то ждет? – все же сказал он.

Она посмотрела на часы:

– Да... У меня уже меня следующий урок.

– Конечно, – сказал он тоном этой несомненной, захватывающей его снова, неизбежности. – Извините, что задержал вас.

Она улыбнулась, как – то болезненно, как ему показалось. И мысленно он уже корил себя, что с этими фразами про сыр и резиновую сирень он вел себя, как идиот.

Когда она ушла, он еще долго сидел в кресле, в своей комнате, и уверял себя, что она совсем не понравилась ему, что у нее все же довольно тонкий узкий нос, отчего она и похожа на сороку, да и челка ей ни к чему, и не такие уж и серые глаза... Но женщина уже снова брала осторожно, двумя пальчиками, бисквит и, как – то смешно растягивала губы, и насмешливо слизывала варенье, и смотрела совсем как та маленькая девочка, из пятого или из шестого, которая знает про того мальчика в среднем ряду все – все – все...

В четверг учительница не пришла. И в следующий понедельник тоже. Он спросил у жены. Она ответила, что Гриша отказался. Что его сын по – прежнему ненавидит пение. И май как бы застрял в апреле. В холодном полупрозрачном воздухе зелененькие листики оказались словно бы запаянными в стекле. Жена рассуждала про электромобиль. Что будущее за электромобилем «Тесла». А он, глядя в окно на бесконечные штрихи дождя, думал, что ему, в общем – то, все равно, что все в его жизни уже было.

Продавщица встретила его с откровенной усмешкой. Он спросил, как поживают кролики. Она загадочно ответила, что хорошо. И предложила ему новые фломастеры, как будто кроликом был именно он, как будто он разгрызал эти фломастеры острыми зубцами и проглатывал. И он даже испытал странное удовлетворение, распечатывая предложенную коробку, отвинчивая колпачки и вдыхая резкий ацетонный запах.

– Голова не кружится?

– Нет, – сказал он, – как сирень.

Она посмотрела на него в упор. Он помолчал, а потом спросил:

– Во сколько вы заканчиваете?

– В семь.

– Выпьем кофе?

- Не против.
- Я зайду без пяти.

В шесть он положил в багажник два тонких провода, электродрель и удлинитель на пятнадцать метров. Положил желтые резиновые перчатки, коробку с саморезами, два ножа и выпуклые защитные очки. Вернулся за гвоздями и... почему – то взял с полки французские духи, которые собирался подарить на день рождения директорше.

В половине седьмого он уже сидел в кабине. И на лобовом стекле, как на экране, разворачивались образы, в которые все еще не хотелось верить.

Безразличная весна, словно бы не желающая видеть его по ту сторону экрана, весна, которая придет не для него, а ведь если бы захотела, то могла бы и прийти, хотя бы ради того, чтобы задержать его в этом отчаянном моменте, где «до» и «после» еще не принадлежат сами себе, где «до» и «после» пока еще только, как клубящиеся части чего – то несуществующего, не нашедшего своего необратимого пристанища, всего лишь только еще шевелящиеся, блуждающие в какой – то непонятной, бестелесной тьме.

Без пятнадцати семь он вставил ключ зажигания. И аккумулятор был уже готов двинуть поток какой – то новой черной и неумолимой реальности, переливающейся в бликах, как свежевскрытый нефтяной пласт. И другие образы уже были готовы заскользить в изумлении. Образы, ввинчивающиеся, как саморезы, протыкающие все новые и новые отверстия, и, как сверла, сверлящие дыры, и открывающие все новые и новые раны, как ножи. И образы уже расправлялись с какой – то новой и холодной решимостью, как будто для их скольжения нужна была уже не только поверхность сновидений, а была еще нужна и какая – то странная неизвестная глубина, которой они способны были достичь в реальности, через какое – то непонятное присутствие, когда кто – то вскрикивает, стонет, мучительно просит о пощаде, а кто – то радуется, что это может привести к оживляющему скачку какого – то другого напряжения, которое не измеряется ни в вольтах, ни в сантиметрах, ни в секундах или граммах, не выражается ни в числах, ни на словах, а приводит к чему – то другому, глубокому, непроверяемому и необратимому в своей подлинности, как будто где – то на дне, в придонном слое существований, снова загорается свет, и некто объявляет сам себе, зная, что последствий погружения не изменить, что это, собственно, было и не погружение, а нечто другое, какое – то последнее свидетельство о поверхности, которая готова принимать эти знаки, эти удары ножом, эти дыры от просверливаний, проколы и надрезы...

Безличное, готовящееся движение невидимых поршней и вращение скрытого маховика, нацеленное на работу шестерней, на способность передавать усилие... Пары бензина, смешивающиеся с холодным воздухом весны, и электрический сигнал со вспыхивающей искрой... И невидимая смесь, готовая взорваться в стальном пространстве.

«Жена... Семья... Карьера... Сын... И этот дикий, дичайший бред... Я просто шиз... Я просто схожу с ума... Бред... Я же этого никогда не сделаю... Какая – то расфуфыренная мырма... Сверлить ее, резать... Бред...»

Он повернул ключ зажигания. Двигатель ровно загудел. Взгляд в зеркало, нет ли помехи слева. Плавное послушное вращение руля, свободное выруливание. И он спокойно нажал «на газ».

Без пяти семь он уже был на загородном шоссе. Мчался в направлении населенного пункта, обозначенного на карте, разделял с другими шоферами свое одиночество, пока их жены, оставались дома. Так, быть может, уже и другие мужья устремлялись в свои загородные дома, чтобы успеть к выходным просверлить необходимые отверстия, привинтить кронштейны и подвести к клеммам провода, чтобы некоторые из помещений, ранее остававшиеся темными, были, наконец, освещены, и чтобы их можно было использовать в качестве кладовок

или мастерских, в любом случае, чтобы там можно было что – то складывать или хранить, если на улице снег или дождь, и он так и сказал жене, когда она позвонила, что он движется по направлению к населенному пункту, где они в прошлом году построили дачу, что скоро открывать сезон, а он еще не провел в светелку провода, но что же ты мне ничего не сказал? спросила обиженно жена, а взял и так внезапно уехал, мы могли бы вместе поехать в воскресенье, понимаешь, сказал он, это было довольно спонтанное решение, я и сам не знаю, почему я вдруг так внезапно сорвался, это все потому, что у тебя женщины на уме, засмеялась жена, у нее было хорошее настроение, а я нашла Грише новую учительницу, чем – то она напоминает твою директрису, судя по фотографии на сайте, ну, да черт с ней, по отзывам она отличный педагог, и теперь Грише, наверняка, понравится петь, кстати, а где духи, нам же на следующей неделе идти на день рождения к твоей директорше, я думаю там можно будет поговорить, все, конечно, наладится, я что – то не могу их найти, я куда – то их переложил, сказал он, да, ладно, сказала она, это не так пока важно, куда они денутся...

Он уже входил в светелку, это была такая темная светелка, темная комната без окон, и как шутила жена, без дверей, в прошлом году он не успел провести сюда свет. И здесь, снова здесь, в полутьме... Но теперь... На этот раз это оказались образы какого – то странного металлического станка, на который можно было бы укладывать, к которому можно было бы привязывать абсолютно голое чистое тело, абсолютное в своей обнаженности и чистоте, свежeweымытое, которое должно было бы теперь, с первыми из этих мучительных разрезов исторгать из себя звуки невыносимого страдания и в то же время какого – то последнего блаженства...

Было еще светло, когда во дворе его поприветствовал сосед. Высокий и моторный парень, который предпочитал все время двигаться, косить траву, копать грядки, сосед построил на участке две большие террасы и параллельно – три теплицы. С прошлого года парень разводил кроликов и сейчас как раз открывал сарай, выпуская их в деревянный загончик. Животные пугливо выпрыгивали по одному из маленького окошка, оглядывались, прижимая уши, ползли, потом бежали, замирали и оглядывались, принимались к свежей траве, начинали быстро – быстро жевать, бросали, перебежали по огражденной лужайке к углам загончика, и там прятались.

– Давно тебя не было, – сказал сосед. – Как дела?

– Хорошо, – сказал он. – А у тебя?

– Да кролики вот чего – то дурят.

– А что такое?

– Сидят в темноте. Выходить не хотят. Банку им с хлором установил. Только тогда стали выпрыгивать наружу.

Из сарая донесся резкий неприятный запах.

– А почему?

– Не знаю.

– Да, странно, – сказал он, поворачиваясь к калитке.

Из – за пруда выходили на дорогу соседи с той стороны, старики.

Старики – двойники, или, если правильнее, двойняшки, они выходили на дорогу, недалеко от своего дома, стояли и смотрели. Смотрели и уходили. Два раза в день, утром и вечером.

Он помахал им рукой, и сосед помахал рукой. И старики в ответ тоже помахали им руками.

– У двойников родился правнук, – сказал сосед. – Можешь их поздравить.

– У которого из них?

– У правого, – рассмеялся парень.

Так между собой они называли стариков – правый и левый.

– Долго живут, – усмехнулся он.

Вся его жизнь, как сидел теперь уже поздно вечером в деревянном кресле, в этой резной витиеватой деревянной качалке, купленной в «Леруа Мерлен», что они еще спорили с женой, что это кресло слишком дорогое, и он почему – то настоял, чтобы купить, чтобы раскачиваться по вечерам, отдыхая от нехитрого сельскохозяйственного труда, попивать из бокала любимую «риоху», и, глядя в огонь камина, думать о будущем, что будущее еще должно оставаться, если и не у него, то хотя бы у его сына, что для сына пока только как бы ранняя весна, хотя в действительности на дворе был уже май, только вот листья распустились в этом году лишь наполовину, все от того, что еще почему – то слишком холодно, такая вот выпала весна, но этот холодный циклон уйдет, и будет еще потепление, а у Гриши впереди целая жизнь, его еще не постигло разочарование, Гриша еще может попробовать что – то сделать в своей жизни, чего – то добиться, чего не удалось ему, его отцу... и какие – то другие женщины, опасные или не очень... лишь бы не испортили они Грише жизнь, лишь бы Гриша не слишком ими увлекался, чтобы не начать им мстить, да, не начать мстить, а за что, собственно?

Кресло, которое способно раскачиваться, пока он будет вспоминать, некто в очках, назвавшийся Омом в честь неумолимого закона, согласно которому чем больше сопротивление, тем должно быть и больше напряжений, больше усилий, чтобы это сопротивление преодолеть, чтобы что – то изменить, сдвинуть, чтобы что – то начало меняться, увлекая, захватывая в свой поток, производя попутно и необходимую работу, что ничего никогда не получается просто так, что это все иллюзии, как будто нечто может получаться без усилий.

Он лег спать в два, он заставил себя лечь спать, завтра же хотел встать пораньше, провести свет в светелке, и даже приготовил дрель и провода, достал коробку с саморезами, оставил все это на кухонном столе, вместе с французскими духами.

В темноте он долго лежал, подложив под голову руки, и теперь уже другие образы снисходительно усмехались над ним, что только они обладают той тайной свободой, что только им не нужны никакие усилия, только они движутся сами собой, плывут, летят, куда хотят, и им наплевать на все сопротивления в мире, они проходят через все преграды, и если захотят, то могут раствориться перед любыми препятствиями, чтобы снова собраться у препятствий за спиной, и никто никогда не сможет им, образам, помешать. И, если они захотят, то могут показать кому – то и хмурое утро, как сосед пинками, зажав от хлора нос, выпихивает и выбрасывает последних кроликов на траву. Или, если опять же им будет угодно, показать благостных двойняшек – стариков, как те снова выходят на дорогу и неподвижно стоят, и смотрят, не мигая. И как они радостно машут, заметив кого – то, зовут, размахивают руками, иди, мол, сюда, чертят небо руками, чтобы кто – то подошел, они же должны рассказать, что у них родился правнук, у нас родился правнук, маленький и новый, сморщенный, как весенний лист, он будет прославлять наше дерево и будет продолжать его рост.

При свете фар, в половине третьего, он вывел автомобиль на шоссе.

Он собственно и не знал, куда ему ехать, возвращаться домой среди ночи было бессмысленно, пришлось бы что – то опять врать, ведь если сказать правду, то жена все равно не поймет его, скажет в ответ что – нибудь резкое, а он ей, и получится очередная ссора, как их и так уже накопилось много за последнее время, да, она хорошая, все говорят, что ему повезло с женой, но она же совсем его не понимает, его странных шуток, говорит, что он слишком много говорит, да, она любит его, наверное, хотя и рассказывает всем налево и направо, какой он непрактичный человек и что часто она сама вместо него меняет перегоревшие лампочки, потому что он просто не замечает, что в прихожей, где, прежде всего, встречают гостей, ничего не видно, слава богу, конечно, что ей хватает ума не сообщать ни знакомым, ни друзьям, особенно Голубеву, о его неудачах в последнее время, что он, незаурядный, в общем – то человек, но почему – то вдруг перестал стараться, что он не хочет налаживать деловые отношения, думая, что можно продвинуться лишь благодаря своим талантам, как будто важно лишь делать хорошо свое дело... И здесь, в этом моменте, выплывала из табачного дыма директрисса и образы уже

принимали какой – то схоластический и откровенно плоский вид, образы вырезались, как из бумаги, чтобы кто – то вдруг снова находил себя на каком – то сером и однообразном фоне, как на какой – то поверхности, где его обрисовывали и замыкали каким – то фломастерным кольцом. Плоские лица сослуживцев, продавцов, даже друзей, окружали и замыкали круг, и почему – то все они хотели оскорбить, поддеть, злорадно пошутить, все они откровенно смеялись. И за эту замыкающую в себя окружность, от ее границы словно бы никуда нельзя было убежать, эту границу невозможно было пересечь...

Но разве он не мчался сейчас среди ночи непонятно куда, совсем в другую сторону? Мчался от этих плоских лиц, мчался один, вспоминая снова о своем странном избранничестве? Его любимые книги и кинофильмы, романы Пруста, очерки Камю, которые читал ночами на первом курсе института, «Ветер в Джемила», «Воспоминание о Типаса», и разве сейчас перед ним снова не восстает то море в Алжире, и те пустынные пляжи, где можно было лежать выжженным крестом под палящими лучами солнца, ощущая горячие камни, вслушиваясь в плеск волн? «Я верю, что я ни во что не верю, и тем не менее не могу сомневаться в том, что существую». И разве сейчас, набирая и набирая скорость на этом пустынном шоссе, он не приближается снова к *своему Типаса*? И если невозможно вернуться обратно, то разве нельзя выдумать заново свое прошлое, ведь когда – то он и в самом деле был совсем другим, не таким озлобленным, затравленным и проигравшим, разрушающим себя в каких – то бредовых кошмарах, и разве нельзя вернуться к себе самому, как возвращаются на родину, вспомнить или выдумать себя заново, что, может быть, одно и то же, почему ты ставишь сопротивление превыше всего, разве самое главное это не ток, достать из бардачка Led Zeppelin, ведь не все же еще потеряно, и ничего еще не потеряно, когда есть силы признать, что потеряно все, и что надо начинать с нуля, как ты когда – то прочел у Кортасара про тех югославских рабочих, что вырыли туннель не в ту сторону...

Спидометр показывал сто сорок, потом сто пятьдесят, а потом и все сто семьдесят. Освещенное фарами шоссе мягко расстилалось, летело навстречу. Столбы и провода, трансформаторы и силовые щиты, камеры фиксации, квитанции со штрафами за превышение, бульдожьих лица в «дэпээс». Но все это лишь летело, словно бы лишь для того, чтобы соскользнуть с поверхности лобового стекла, как какой – то бездарный ненужный кинофильм по правилам дорожного движения. И по ту сторону, по – прежнему, уходило вдаль шоссе, светились, по – прежнему, огни неизвестных городов, шелестело на ночных пляжах море, и на тихих верандах, в тихих отсветах призрачных береговых огней, улыбались совсем другие, счастливые, лица, какие – то люди, они по – прежнему пили вино, курили душистые сигареты и разговаривали о своих любимых книгах и кинофильмах, о путешествиях, которые еще ждали их, о тайных встречах, обо всех тех милых банальностях, в которых черпает себя очарование молодости, которой по – прежнему наплевать на наивность и старомодность интонации, с которой об этом говорят, как будто все это было лишь когда – то давно, у какого – то Камю или Кортасара, да наплевать на ретро, что все уже тысячу раз было с другими, молодости на интонации наплевать, она просто верит самой себе, не обращая внимания на слова, как те наивные, свежие, июньские уже какие – то существа, июньские или январские, которые жужжат над цветами, расправляют свои крылышки или лепестки, и которым наплевать на майский холод...

...на внезапный удар, раз...рыв слов, нарушение синтаксиса, а не интонации, самой грамматики... грам или в что... ты хотела взял и не... в через было... будет светлая... всяивсего... несущ... ествования в виде припарк... на обочине асфа... катка

...который зачем – то завезли, как продолжалась где – то далеко интонация, за окружность города и оставили на продолжении диаметра в этом самом месте, где резко уходил налево поворот...

Нет – нет, он все же еле успел затормозить, огромный свинцовый в своей светлой траурности каток пролетел почти в лоб, понеслись, защелкали белые столбики обочины, и машина

каких – то последних смыслов, вздыбливаясь, вставая на два боковых колеса и отрываясь с внутренней стороны виража, с нажимом вернулась в поворот.

И теперь ему уже оставалось только опомниться и снова собраться в этом так называемом настоящем, которое снова держало его в своей несомненной реальности, что он все же должен был испугаться.

Теперь он старался держать на спидометре девяносто. Но через полчаса индикатор топлива все равно замигал, бензин заканчивался.

Светало, небо по краю поля зарозовело.

Как будто он увидел такое поле в первый раз.

Беспричинно остановился.

Заглушил мотор.

Открыл дверь.

И – вышел.

В придорожной пыли застыла пробка из – под кока – колы. Не как знак чего – то, а просто как вещь, какая – то пусть даже и искусственная вещь, которой суждено остаться лежать здесь, в этой забытой вечности, и где рядом эти растения, что он не знает, как они называются, да они и сами не знают, что они вечно распускаются без названий каждый год, несмотря на холод, как будто верят, что они ни во что не верят, а солнце, оно или он, она, солнце мужского рода или женского, уже взошло, прорезая далекие верхушки, выплескиваясь ярко, поверх слов, которыми правильно все равно не назвать, хотя можно крикнуть, брызнуть, выдохнуть и вдохнуть, разрезая окружность, появление, вырастание из ничего, пронзительное как мать, отец, желтое, слепящее наугад ртутное золото, восстанавливающее другой закон, который бы надо разливать по градусникам, да по бокалам, раздавать страждущим, как приращение радости, так солнце в ответ уже трогало и его лицо, оборачивалось теплом, участвовало в термодинамике, впитывалось в подобие некоей лейбницевой бесконечности, новой бесконечности, у которой теперь не было причины...

Он сел в автомобиль. И, разворачиваясь через осевую, погнал обратно, как будто устремлялся по – прежнему вперед, сквозь ветер Джемила из приоткрытого окна, как некто по имени, хотя и по – прежнему в неопределенности своих положений, но уже не в распаде чувств, а в каком – то новом доверии к самому себе, что пусть да, пусть он не способен найти, пытается вспомнить и забывает, но зато теперь...

Зато теперь как будто это была уже другая весна, хотя и все та же от своей невозможности, и словно бы она отрывалась сама от себя и пыталась найти свою орбиту, и поскольку орбиты теперь не существовало, то весне как бы приходилось придумывать себя заново, и ее надежда уже не была ее слабым уделом, потому что весна теперь уже придумывала себя без надежды.

И солнечный ток уже проникал вслед за своим же темным сопротивлением, искал, как будто бы ищет сам себя, прикидывался, что не может найти, как будто бы верит в какие – то дурацкие сопротивления, как будто бы нет светлых напряжений...

И некто уже входил в комнату, в магазин, поднимался через заднюю дверь троллейбуса и подмигивал водительнице, дарил на день рождения директорше французские духи и спрашивал продавщицу, есть ли у нее кролики, целовал жену и радовался старой новой учительнице пения.

И теперь, появляясь на улице или в кафе, некто только усмехался, подмигивая налево, подмигивая направо.

И корабль с его пеплом – что только и осталось после той катастрофы на загородном шоссе – все никак не мог прийти от удивления в себя.

И корабль задумчиво отплывал вдаль.

Раздавленная весна

1

Порог, и все те же четыре этажа, ступеньки, по которым я поднимался с мороженым, чтобы стоять и лизать перед твоей дверью, ждать пока ты не откроешь. Так я невыносимо приезжал на электричке в Бирюлево – Товарное (название станции). Панельный длинный дом, перпендикулярный к улице, за которой железнодорожное полотно и все с ним связанное – рельсы, шпалы, пассажиры и поезда. И одним из пассажиров был...

Я просто устал тогда от семьи, от маленького ребенка, который кричал и плакал о матери, она уходила по утрам на работу, а я, его отец, лежал рядом с ним и не спал от его крика, от невозможности его утешить, от своего бессилия, от своей злобы на жизнь, что я так ничего и не смог сделать из того, что хотел, и что все, что мне остается, – это роль отца маленького ребенка. Да, я хотел его. Держал на руках как некое чудо, мягкого, жидкого почти в своей новорожденности, когда привез их, ее и его, из роддома.

И вот теперь я их предавал. Я знал, что это предательство.

Я стоял перед твоей дверью и ждал, когда ты откроешь, чтобы войти. Я вспоминал, как ты крутила педали, высокомерная, как прустовская Альбертина, в тот день, когда мы познакомились. Я знаю, я просто не существовал тогда в твоём сознании. Я стоял рядом, у черной доски, но ты не замечала меня. Ты крутила на тренажере педали и ты говорила: «У, классно!» Это было смешно, что здесь, в аудитории с ботаническими растениями, – велосипедный тренажер. И ты смеялась.

Тогда я остался из – за тебя.

Что – то, как плеснуло в глаза мне.

В аудиторию падал солнечный свет, колеса крутились все быстрее. Сверкали спицы. Это было и нелепо, и естественно, что здесь, в аудитории, – велосипедный тренажер. Как будто ты хотела куда – то уехать. И оставалась на том же месте.

Так мы стали что – то там изучать, как и все в наше время – время тренингов, групп, артмастерских, йоги, горлового пения, сальсы или румбы, тайцзи и чего – то еще – лишь бы не быть собой. В тот раз это была гештальт – группа и ведущая обещала нас научить:

Как наладить личную жизнь,

Как получить хорошо оплачиваемую работу,

Как не быть безразличным к тем, кто когда – то и зачем – то нас породил,

Как принять, наконец, правила игры,

И больше не задавать лишних вопросов.

Ведущим тоже нужны деньги и за деньги они могут научить, они обещают научить, как и все колдуны, что хотят научить нас другой реальности, потому что никто не знает, какая из реальностей настоящая. Потому что, быть может, каждая жизнь обречена на ошибку и никто никогда не сможет себя найти, не сможет достичь того, чего хотел когда – то... Так я и шел на эту встречу по объявлению, весной, по сахарным мартовским лужам.

Вечером я должен был есть суп и слушать крики своей любимой, ведь я любил ее, и я должен был слушать крики ее отчаяния, что я оказался не тем, кто, как она думала, будет столпом солнечного света посреди ее жизни, сильным и могущественным, исполнившим то, что хотел, солнцем, которое встает над равниной, встает несмотря ни на что каждый день, исполняя закон и обещание своего возвращения. Нет, я оказался не тем... И, наверное, все, что мне оставалось, это исчезнуть, подстроив какой – нибудь нелепый случай. И я стал задумываться... И, представляя в подробностях свою смерть – веревка или балкон, железнодорожное полотно

– вдруг понял, что, лучше, конечно же, не кончать с собой, и, если мне не суждено стать солнцем, то...

Предать свою любимую и своего маленького ребенка,
И отдаться во власть тех черных сил,
От которых уже не ждут пощады,
И которые всегда наготове.
Потому что они всегда рядом,
Только позови и они явятся.

Внизу на экранной странице, на границе дня и ночи, моя любимая прочла адрес и телефон гештальт – группы, где ведущая обещала спасти нашу семью.

И вот теперь я поднимался на четвертый этаж с мороженым, поднимался в твое ледяное злобное царство.

Цепи были уже готовы и колеса, зубчатые, на шестеренках, ждали, чтобы повернуться еще на несколько градусов, чтобы сделать мне еще больнее, чтобы боль, растягивающая сухожилия, наконец, пронизала все мое тело насквозь и чтобы мое тело, сопротивляясь из последних сил, наконец – то, не выдержало и отпустило себя на разрыв, чтобы оно смогло разорваться в своем отчаянии, что ему уже не собраться назад, не обернуться к прежней жизни, и что теперь ему остается только крик, исторгаемый из глубины, крик того знания, что дороги назад уже не будет и что впереди только черное пламя, лед и та странная сладкая судорога, когда спотыкаешься невинно, когда падаешь, не помня себя, как во сне, который наступает нас по какому – то странному закону безволия, что мы должны, наконец, оставить себя и забыть, отдаться в чужие руки.

– На, ешь, – сказала ты.

Я был пристегнут железными скобами и ошейником. А ты стояла передо мной с блюдцем и держала чайную ложечку. И уже подносила варенье к самому моему рту.

– Тебе надо подкрепиться, Игнат, ведь еще ничего не началось.

– А что должно начаться?

– На, пробуй.

Варенье оказалось почти ледяное и обожгло язык. Ты, не отрываясь, смотрела мне в глаза, впитывая мой стыд, мой позор и мое отчаяние. Я не выдержал, дернул голову назад и больно ударился затылком о заднюю стенку гипсокартона, на котором я был распят. Шестерни и цепи были расположены на старой латунной раме, их оси проходили заднюю стенку насквозь, и электромоторчики для натяжения, для поворачивания и для передвижения дополнительных стальных карнизов в промежуточных прорезанных в заднике горизонтальных отверстиях, находились как бы за кулисой, что когда я только увидел это сооружение, открывшееся мне в твой студии (на группе ты почему – то представилась не художницей, а антропологом), то удивился, прежде всего, гипсокартону и даже спросил: «А зачем гипсокартон?» «Потом узнаешь», – как – то странно засмеялась ты.

И вот теперь я, голый, распятый на цепях, висел перед тобой, и ты невозмутимо кормила меня с ложечки холодным, словно бы из морозильной камеры, вареньем, которое я должен был есть, потому что подписал договор и мне было обещано, что, если я выдержу до конца, вынесу все, что тебе нужно, и не скажу условленное «стоп», если я удержусь вблизи той самой, опасной границы, то тогда, помимо довольно серьезного, гонорара, я получу и кое – что еще, то самое, о чем ты недвусмысленно мне намекнула, и ради чего я, собственно, и приезжал сюда и поднимался на этот четвертый этаж в твою студию, расположенную под самой крышей этого старого недавно отреставрированного здания бывшей нейлоновой фабрики.

Конечно, с вареньем – это была всего лишь игра. Да и все это было как будто игра. Но каждый раз, когда ты заковывала, застегивала меня по – настоящему в этот аппарат и растяги-

вала, прибавляя на шестернях еще по несколько градусов, я вынужден был терпеть, и боль, и унижение. И – терпел. Но не ради денег, а, прежде всего, ради того, на что ты так недвусмысленно намекала. И каждый раз, пока ты что – то там смешивала или выкладывала из тюбиков, а потом жестко ударяла кистью о холст, как в барабанное полотно, я представлял себе, как ты будешь отдаваться мне с такой же холодной ненавистью – когда я все же вытерплю все эти издевательства и мучения, необходимые для твоей картины. И когда она будет, наконец, закончена, то и у меня появится шанс...

Я часто вспоминал, как ты предложила мне эту «работу». В тот день ты ждала меня у метро уже довольно долго и, когда я подошел, глаза твои были исполнены какого – то странного, холодного отчуждения. Я был один из тех чужих мужчин, которые всю жизнь хватили тебя за руки и которым от тебя надо было только одно. Но тогда мы договорились встретиться по необходимости, чтобы поехать к той медсестре, которая тоже зачем – то приходила на нашу группу, как будто ей было мало боли, которую она каждый день видела в палатах, а может быть, она хотела от нее избавиться. Мы должны были встречаться «в тройках» где – нибудь еще, помимо групповых встреч в аудитории, и договорились встречаться на квартире у медсестры. Потом я догадался, что так ведущая хотела привязать нас друг к другу теснее, чтобы мы выдержали до конца, и тогда она раздаст нам сертификаты, и мы, спасенные, сможем, наконец, спасти и других, чтобы научить их –

Как любить своего ребенка,
И свою жену,
Как не предаваться порокам,
Как не отдаваться злу,
И не считать, что этот мир, где ты оказался —
Просто ловушка.

Каждый раз, когда ты заковывала меня в этот мерзкий аппарат, я представлял себе *узкую п...у*. И что рано или поздно ты все же подаришь мне удовлетворение. Как будто обладая тобой, даже против твоей воли, я буду обладать всем, чего хотел. Да, прав был тот герой, который говорил, что красота – страшная вещь. И пока ты действовала там, на картине, я часто раздумывал, что же нас так завораживает в женщинах? И почему все начинается с лица, с каких – то таких черт лица, что мы уже не можем ничего с собой поделать, что даже и изъяны тела – как, например, твоя худоба, небольшая сутулость, маленькие груди – уже не могут отвратить нас от той невозможности, от того притяжения, с которым так странно связывается, прежде всего, лицо. Так называешь имя и – ниоткуда – появляется, прежде всего, лицо – глаза, брови, лоб... все, что я вскоре (как я представлял себе) буду разглядывать, близко наклоняясь над тобой, разглядывать, как какую – то египетскую маску, которая будто бы и станет тем странным доказательством, что вот теперь я, наконец, существую на самом деле, и что я доказываю себе теперь это не в каком – то вымороженном фантазме, в каком – то мнимом времени, а что теперь я существую реально, что я могу войти в тебя реально... И, как бы тебе этого не хотелось, как бы это ни было для тебя мучительно, я снова стану самим собой именно *в тебе*.

Я представлял себе, как, усталый, снова валюсь на твое плечо, вжимаюсь губами в твою узкую ключицу, и как меня снова жадно пожирает это черное пламя, и я напиваюсь, как электрическая высоковольтная дуга...

– *Хочешь сказать «стоп»?*

... вот уже гаснущая при замедлении тока электронов и других, каких – то еще неоткрытых частиц, которые уже невозмутимо скользят через нас из глубины какой – то другой, непонятной черной материи.

– *Ты хочешь сказать «стоп», Игнат?*

Я не хочу описывать здесь все те скучные истории на группе, куда я приходил только ради тебя и где я делал вид, что общаюсь с тобой лишь постольку, поскольку. На группе ты рассказывала о своем бывшем любовнике, который тебя бросил. Тебе было больно рассказывать об этом, и ты плакала. На группе ты не была такой холодной и такой жестокой, как наедине со мной, в этой своей омерзительной студии. На группе ты сама была растерзана и уязвлена. И я в чем – то даже завидовал твоей несчастной любви, завидовал и бросившему тебя любовнику. Как будто для меня это была какая – то идеальная любовь. Или, может быть, это любовь других всегда идеальна?

Никто не догадывался о наших «коммерческих» отношениях, разве что, может быть, медсестра. Но однажды, когда негде было провести очередную встречу «на тройках» (к медсестре приехала мать), я почему – то предложил встретиться у меня дома. Я знал, что поступаю неправильно, и что моя жена может о чем –нибудь догадаться, когда увидит нас вместе. Но все те же темные силы, ослепительные и отчаянные, подталкивали меня к этой опасной границе. А может быть, я, не отдавая себе отчета, уже тайно хотел спастись, может быть, я хотел, чтобы все это как – то нечаянно кончилось?... Я знал, что не смогу не выдать себя, что мое лицо, мои глаза, что скользнут в сторону, избегая взгляда моей любимой, меня выдадут. Но в то же время такова была и моя тайная дьявольская уловка – ведь не мог же я так явно пригласить в свой дом свою любовницу (а в своих фантазмах я непременно представлял тебя уже своей любовницей) и так нагло и лицемерно знакомить тебя с той, кто всегда верила мне, держа на руках моего маленького ребенка.

Да, получалось так, что я и есть тот самый – последний негодяй.

Я никогда не забуду, как вы смотрели друг на друга при встрече. Какая злая усмешка тронула уголки твоих губ. И я догадался, что за картина разворачивалась перед тобой в это мгновение – как я, голый, растянутый на цепях, вишу над подставкой, а ты засовываешь мне в рот какую – то горячую, обжигающую булку... Ты не стеснялась, когда говорила, что тебе нужна моя боль, что, прежде всего, ты хотела бы запечатлеть мои унижения и страдания, что тебя интересует только это и ни что другое. Я помню эти твои теории, что картина, если это картина настоящая, должна напитываться чьими – то страданиями.

Потом, когда вы ушли, моя жена откровенно расплакалась. Я холодно спросил ее: «В чем дело?» И моя любимая мне ответила: «Я не ожидала, что *она* будет такая красивая».

Твоя холодная египетская усмешка и жаркие слезы моей любимой. Две фигуры и два лица, одно – красивое, холодное и безразличное, и другое – живое, некрасивое и содрогающееся от слез.

Но на следующий день я снова пришел в твою мастерскую. Я успокаивал себя, что поступаю правильно, и что я снова пришел сюда только ради денег. Хотя, разумеется, я знал, что это совсем не так. Я мучительно хотел тебя – *хотя бы один раз*. И чтобы на этом все и закончилось. Но в то же самое время мне почему – то уже стало казаться (или так и было на самом деле?), что я уже и *не хотел*. И я же сам себе сопротивлялся. Что бы вышло из всего этого? Крах, падение, разбитая жизнь? Да и стал бы я с тобой тем, кем хотел?

– Пришел, – усмехнулась ты.

– А почему я должен был не прийти?

– Вчера на твоем лице было столько страдания.

Я не ответил. Как обычно, разделся за ширмой. Ты молча застегнула на моих запястьях наручники, и – так же – на лодыжках. Я уже стоял на подставке, ты включила электромотор.

– Сегодня наверняка захочешь сказать «стоп».

Ты фальшиво заулыбалась, всунула в рот мне какую – то вишню, цепи натягивались и натягивались. У меня закружилась голова. Вглядываясь в мои глаза, ты нажала на выключатель.

– Будем считать, что достаточно.

И занялась картиной.

В этом зловещем молчании, прерываемом иногда глухими ударами кисти и каким – то змеиным шуршанием тряпочки, о которую ты с такой ненавистью вытирала лишнюю краску, я как – то все откровеннее догадывался, что из этой ловушки ни тебе, ни мне так просто не выбраться. Я прожевал ягоду, выплюнул косточку. Все откровеннее кружилась голова.

– Ты какой – то весь бледный, – как издалека услышал я твой голос. – Хочешь виски?

– Нет.

Вдруг все поплыло у меня перед глазами. И я потерял сознание.

Брить

Брить пустое

Брить чистое

Блестящее как у манекена

Брить потому что ничего нет

Брить голени

Брить подмышки

Обрить с головы

Сбрить брови

Ресницы.

Обрить лобок

Пустое бесцельное и идеальное...

Какая же ты гладкая, какая глянцевая, с глянцевой кожей, блестящая, как новогодняя игрушка... И уложить тебя в вату, в гипсокартонную коробку. И закрыть, плотно закрыть крышкой, с продольными прорезями для глаз. Потому что для идеального крика не нужны никакие отверстия.

Чтобы стать тобой, не нужно ничего.

Никакие обещания верности, никакие группы, ведущие и никакие медсестры, никакие исповеди отчаяния не нужны. Не нужны ни прогнозы, ни оптимизм, ни любовные треугольники, какие – либо параллелограммы, парфюмерные магазины, артхаусное кино, кафе, бутики и рестораны, пляжи и фитнес – клубы, бассейны и путешествия, храмовый комплекс Ангкор-Ват...

– Ни велосипед, ни тренажер, ни даже этот зловещий аппарат на четвертом этаже.

– Ты в этом уверен?

– А почему ты спрашиваешь?

– Я же должна спросить тебя.

– Пока не поздно?

– Уже поздно.

– Вот именно.

– Не все ли равно?

– Не гони, дорога же скользкая.

– Скажи «стоп».

– Поздно говорить «стоп».

– Это верно.

– Как в комнате.

– А это и есть комната.

– На колесах.

– И с фарами.

– Чтобы можно было, наконец, рассмотреть...

Это был большой дом, куда ты привезла меня. Высокий четырехэтажный дом красного кирпича за мрачным каменным забором. Ворота открыл высокий молодой человек с длинными – как у пианиста (я почему – то так подумал) – волосами.

– Познакомьтесь, это Брэндон, мой конюх, – сказала ты.

Я кивнул, Брэндон как – то поморщился и наклонил голову, что мне не понравилось сразу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.